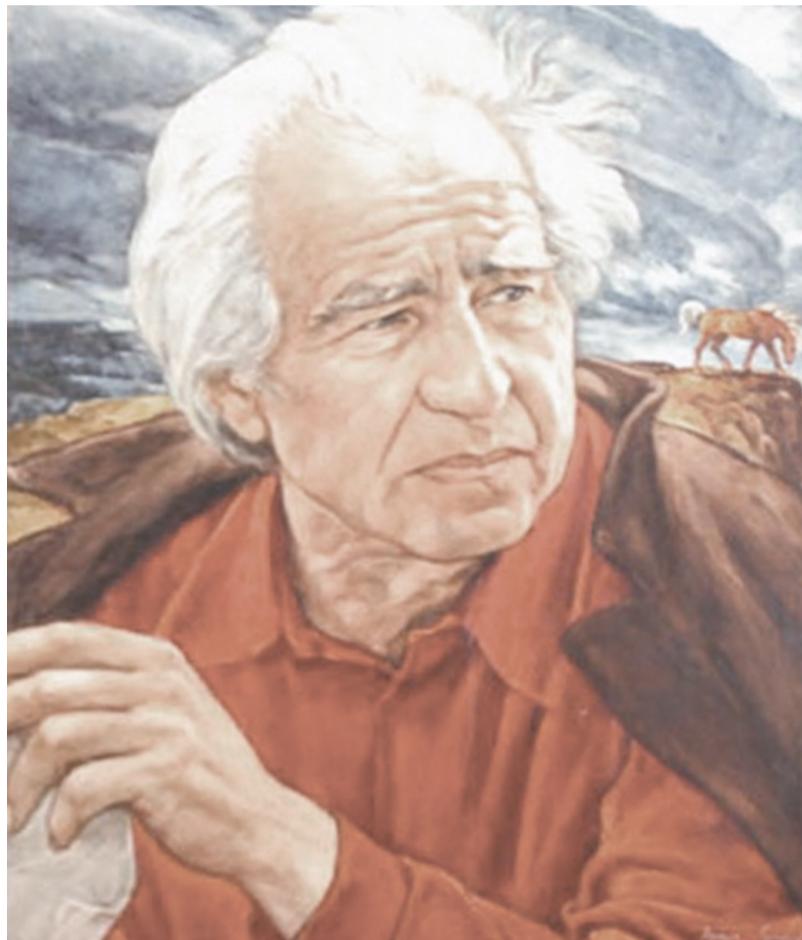


Валентин СОРОКИН

К 100-летию поэта



# Снегириные гроздья Василия Фёдорова



Поэты моего поколения, русские поэты, в юности, как снегириные гроздья, стаями налетали и, перекликаясь, звенели вокруг Василия Фёдорова. Доступный, порывистый, он поднимал над нами седую косматую голову и, взмахивая руками, сам вместе с нами летел...

Мы видели в нём смельчака, срастившего «распиленный» ствол национального древа поэзии: от Павла Васильева и до нас — рубка, щепки кое-где мелькали, а часть ствола уложена в шахтах Магадана и Певека. Мы, русские поэты, и сейчас это ощущаем — утрату плотности слова на поле воображения. Причина — уничтожение поэтов, заметных и перспективных, в поколениях

В шестидесятые годы трагический фёдоровский афоризм пронзил нас и заставил повернуться лицом к пережитому:

Почему сыны твои, Россия,  
Больше всех на свете водку пьют.  
Почему?  
Не надо удивляться.  
Наши деды по нужде, поверь,  
Пили столько, что опохмеляться  
Внукам их приходится теперь.

Находились «философы», осуждающие «пили столько, что опохмеляться внукам их приходится теперь»: принимали вправданную, а ведь у поэта стоны о замученных, слёзы и кровь израненной памяти народа. Каратальный разгул. Кровавое похмелье. Догулялись. Дорасстреливались. Женщины детей не хотят родить: нищеты и бойни пугаются...

Буквально за несколько дней до смерти Василий Дмитриевич встретил меня в фойе ЦДЛ: «Валентин, помоги Раухалову, северянину, одарённый, доведи до приёма в Союз писателей его, а я устал!» — И потеребил галстук... К нам подошёл Михаил Львов. Но Фёдоров продолжал: «Помоги Раухалову, талантливый, обязательно помоги. Правда, такой блистательной судьбы поэта, как у тебя, у него никогда не будет, но помоги!»

Мы были потрясены угнетённостью Фёдорова. Смертельно усталый, он, показалось нам, отстранялся от жизни добровольно, отталкивался, а давно ли взлетал? И в этой его усталости сквозила горечь. Не так давила физическая усталость, как давила надвигающаяся катастрофа: её чуют поэты гораздо точнее сеймологов.

Василий Дмитриевич, защищая и утверждая, особо меня не расхваливал и — вдруг. Не увидимся? Попрощался? Дышал затруднённо. Раньше он потребливал галстук перед выступлением, перед сценой, а тут перед чем?

Вскоре я исчез из Москвы. Вернулся, а жена укоряет:

— Тебя Василий Дмитриевич искал!  
— А где он?  
— На Кавказе...

И раздался трескучий звонок. Я успел сказать:

— О нём...

А в трубке: «Василий Дмитриевич умер!» — сообщил Прокушев.

Верящий в доблестную державность родного народа, Василий Фёдоров служил ему, болезненно реагируя на ложь и схоластику новоявленных лидеров, бессовестно предающих страну. А в стране начинались переворотные аварии, взрывы атомных реакторов и землетрясения.

Но пересохло горло певца: слёз и мук ему не хватило овладеть собою и воскреснуть? Или с лихвой их досталось? У него не

было Василия Фёдорова: сам поднимал себя и сам унимал собственную боль и тоску по счастью, отобранныму у него и у его народа. Превозмог себя и встал рядом с Есениным и Твардовским, встал — с горечью во взгляде и с веющим страданием в сердце.

Пророчества и видения, наития и разгадки посещали его ум, бередили его душу. Укорачивая минуты, к сознанию поэта мать пробиралась по окопам и тюрьмам, голодная и холодная, по колхозным коровникам и разорённым сельским халупам — к нему, к сыну, шла отогреться и успокоиться.

А мне надо было явиться в Москву. Надо было уволиться из мартена. Надо было дотянуться до его непродажного плеча. А он пока в Чехословакии. А столик — в ЦДЛ... За столиком Светлов уточняет:

— К кому, к кому? К Ваське, к Ваське обращаешься?

— Для вас Васька, а для меня Василий Дмитриевич!

— А я для тебя кто?

— Никто!

Михаил Аркадьевич уронил вилку. «В Союз писателей через мой труп...» — цурковато оскорбился.

А Володя Фирсов мне в ухо: «Балда!». А Саша Говоров Ирине в ухо: «Твой колун дров наломал, увоз!».

Разрядил атмосферу Толя Заяц: «Поставь ёщё бутылочку коньяка, Валёк, и всё рассосётся!».

— Не рассосётся! — завозился Слава Богданов...

Я, Ира и Слава понуро покинули ЦДЛ. Но ЦДЛ не содрогнулся от мелочи, я же виноват покаялся перед Василием Дмитриевичем Фёдоровым, возвратившимся из командировки:

— Случайно, Василий Дмитриевич, застопорился и нахамил, на трассе труп!

— Тактическая ошибка, — покачал кутузовской головой Фёдоров, — програда существенная, вынуждены на марше перешагивать через гениев.

Но Светлов не затаил ни обиды, ни мести и не помешал. Узнав, что я принят, громко позвал в ресторане:

— Сорокин, иди, я тебя поздравлю и угощу!

А Василий Дмитриевич посоветовал: «Поосторожнее в ЦДЛ. Поосторожнее!».

В те годы застольные «толчки» — почётная декорация, антураж и легенды ЦДЛ. Но брежневский «застой» изменил картину: в ЦДЛ появились уголовники, убий-

цы, вызволенные из-за решётки депутатами-соцгероями и членами ЦК КПСС...

Василий Фёдоров, один из крупнейших поэтов наших, предчувствовал приход к штурвалу корабля безответственнейшей команды, у которой не хватит ума принять сердцем и слиться с голубым скифским простором всем существом своим, и вдаль устремиться, врачуя могилы и пашни, окликая мужественной доброю края и народы:

Берегите меня  
До последнего дня.  
Берегите меня  
До последнего часа.  
Берегите меня,  
Как цыгане коня.  
Чтобы гикнуть потом  
И умчаться.

Не уберегли целую конницу изумительных страстей таланта. Люди, умеющие помогать России божьей искрой таланта, отвергнуты, отсунуты, а на сцены и на экраны выпущены стаи малярийных болотных комаров. Трясёт нас от развратного и бесполого «искусства», от спидового ликования хмырей. Ложь не утвердится на линии постоянства, а пошлость не оправдает надежды уродов. Вдохновение — конь крылатый и выносливый, и всадник здесь требует небанальный.

Вот и промчались они — гики слышу... Вот и канули они в синюю дыму России — ветер и сумрак после них. Вот и горизонт русский окаймился — бездонный котлован пустоты гудит. Ну, где они, огненные витязи века? Где Гумилёв, где Блок, где Есенин? Где Маяковский?

А братья их меньшие — Васильев, Корнилов, Ручьёв — где?

Василий Фёдоров — последний из огненных. Последний из отважных. Последний

из умытых маминой слезою. А перед ним отравленный водкой Павел Шубин, истерзанный туберкулёзом Пётр Комаров, зарезанный трамваем Алексей Недогонов, выброшенный бериевцами из поезда Дмитрий Кедрин. Это они — от Державина и Пушкина, Лермонтова и Некрасова, Кольцова и Некрасова. Огненные всадники!

Никого не надо отпихивать от родного народа, от родной думы и родной речи, но Родина не гудящий котлован, мраком повитый, а вечный холм, окружённый долинами и склонами, обрамлённый лесами и реками, упестрённый травами и цветами. Почему поэт — поэт? Почему человек — человек? А потому: огненные всадники поколений, как звёзды через мерцающий космос, звенят стременами и скакут через трепещущую душу поэта, без которой человек и себя не познает.

Василий Фёдоров запоздало входил в поэзию. Один входил. Ровесники его — почти все погибли. Седой, высокий, благородный — входил, а рядом крикуны падали в обморок на эстрадах, модные, «западные», диссидентственные: Хрущёв днём их крыл матом, а вечером пил с ними на политбюровских дачах, как Брежnev, как Горбачев — присасывал, подкармливал, похлопывая генсековской властной ладонью по милым мордашкам оппозиционеров, холуев США и СССР, переделкинских волкодавов, превращённых в кремлёвских котиков, мурлыкающих и виляющих.

Львы и псы?  
Приём не нов.  
На арену драк и драки  
Дрессировщик злых собачек.

И сегодня имеются у дрессировщиков пудели, боксёры, дворняжки есть даже одряхлевшие, уцелевшие реликты, московские сторожевые.

Однако стаи наддрессированных собачек, гавкающих по указке, захватили культурные рубежи — настоящим львам не пробиться, а львам бутафорским, бумажным псевдонимным тиграм, пожалуйста — главные кресла. Концерт!

Василий Дмитриевич Фёдоров ценил шутку, острую пику, когда весёлый, много смеялся, порывисто говорил. Соглашался на незапятых разницах мнений примириться и опять — смеяться. Когда же сердитый, возражал нередко там, где и нет причины возражать. Для острастки...

Василий Дмитриевич — интеллигентный мужчина, а в сером, почти светлом, посервиривающем сталью костюме да с шевелюрой серосверкающей, высокий и строгий, цены не имеет. Идём. А он, едва-едва покачиваясь, предупреждает:

— У памятника. Алексею Максимовичу Горькому, не иначе!

Заворачиваем к Алексею Максимовичу. Фёдоров взбадривается: